

Николай Богомолов

## Писательские дневники XX века: взгляд через четверть столетия

### Diaries in Twentieth-Century Russian Culture: Twenty-Five Years Later

This article is a sequel to the author's previous piece *Дневники в русской культуре начала XX века* [Diaries in Twentieth-Century Russian Culture] (1990). During these years a lot of diaries appeared that were not known to anyone, and scholarly understandings of life-writing changed radically. First of all, we are obliged to understand the functions of the diary for its author. More and more often a diary becomes intended for an outside reader, as a work of fiction is. So scholars must distinguish between *Dichtung* [poetry] and *Wahrheit* [truth] in these works, as they do in addressing pure art.

Уже более четверти века тому назад, в 1988 году, я делал доклад *Дневники в русской культуре XX века*, который пришелся вполне ко времени: начало перестройки, чуть-чуть, со скрипом приоткрывающиеся архивы, слегка развязываются языки у свидетелей прошлого. В 1990 году он был опубликован и был принят вполне заинтересованно. Однако по прошествии 27 лет стало очевидно, что картина радикально переменилась, и эти перемены нуждаются в фиксации и осмыслении. Прежде всего это касается фразы: “[...] со второй половины двадцатых годов проблема дневниковости практически

теряет свое значение” (Богомолов 1990: 156), которая основывалась на суждении М.О. Чудаковой: “В общественном сознании современников-соотечественников документы уже не были потенциальными или реальными памятниками культуры – они воспринимались большей частью как потенциальные вещественные доказательства, свидетельствовавшие не в пользу их владельцев” (Там же). Она была не одинока. В издании своих дневников, появившемся чуть позже, В.Я. Лакшин писал:

После писем, потерявших обстоятельность и

откровенности из-за привычных опасений перлюстрации, дневник был самым непопулярным жанром домашней литературы. В 30–40-е годы, как известно, сколько-нибудь понимавшие жизни люди дневников не вели – на другой день после ареста они оказались бы на столе у следователя. Рассказы о тетрадях, предавших своих хозяев, не однажды были выслушаны мною (Лякшин 1991: 5).

Далее следует рассказ о дневнике Н.С. Ангарского (Клестова), сданном в Отдел рукописей Библиотеки имени Ленина<sup>1</sup> и тут же оказавшемся на Лубянке, а хозяин его – вскорости расстрелянным. Даже о судьбах дневников в более позднее, *вегетаринское* время Лякшин вспоминает так: “[...] случались недели и месяцы, когда я уносил бумаги из дома, прятал их за городом, в надежных местах, боясь, что они могут исчезнуть. Записывал конспект событий в маленьких блокнотах и на от-

дельных листках, рассчитывая переписать позднее, и частенько забывал об этом за наворотом событий” (Там же: 7).

Тем не менее простое перечисление показывает, что если годы сталинского властительства и не были годами *дневникового бума*, то все же количество введенных за эти четверть века в научный оборот документов, относящихся не к началу XX века, а к его опасным для документов годам, значительно увеличилось.

Без особенной системы назову такие внушительные и в конце 1980-х годов практически никому не известные многотомные дневники М.М. Пришвина, многолетние и весьма обширные дневники А.К. Гладкова, считавшийся пропавшим дневник М. Кузмина 1934 года, поздние дневники Андрея Белого, дневники Д. Хармса, поздние записные книжки А. Ахматовой, которые многие склонны считать ее дневником, не получившим окончательного оформления, записи П.Н. Лукницкого, фиксировавшего и разговоры с Ахматовой (т.н. *Акумиана*), и собственно дневники, небольшой нежданно обнаружившийся фрагмент дневника М.А. Булгакова и настоящий дневник его жены, обширный дневник

<sup>1</sup> Ныне Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

поэтессы В. Малахиевой-Мирович, дневники малоизвестного литератора С.К. Островской и Н.Н. Пунина, *Поденные записи* Д. Самойлова, дневники Б.А. Садовского и Евгения Шварца. Характерно, что в первых 10 томах замечательного альманаха «Минувшее» (то есть до 1990 года включительно) вообще не было напечатано ни одного дневника, а с 11-го выпуска они публикуются регулярно: Хармс, Кузмин, Оношкович-Яцына, Ремизов, Иннокентий Басалаев, Амфитеатров-Кадашев, Хин-Гольдовская, Анна Радлова, еще раз Басалаев, Н.П. Вакар – и мы называем только литераторов.

Заметно увеличился и перечень дневников, восходящих к началу века или даже к концу прошлого: *История моей души* М. Волошина, весь корпус *автобиографических сводов* Белого, длительный дневник К.И. Чуковского, не столь многолетний, но весьма насыщенный информацией дневник С.П. Каблукова, ранние дневники В.М. Жирмунского, фрагментарно ведшиеся записи Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, сомнительные дневники Рюрика Ивнева и совершенно бесспорные – Веры Судейкиной (впоследствии Стравинской), Б.В. Николь-

ского, Ф.Ф. Фидлера, Лидии Рындиной. К ним прибавляются эмигрантские – недавно изданный дневник Ирины Кнорринг, дневники Ремизова, Ладинского, фрагменты дневников Б. Поплавского... Список можно продолжать, но не в нем дело. Перечисление показывает, что стремление фиксировать события своей жизни и жизней окружающих оказывалось сильнее опасности. Умерли в заключении Хармс, Пунин, Радлова, побывал в лагере Гладков, перенес давление госбезопасности Лукницкий, изымались той же организацией дневники Кузмина, Белого, Булгакова, но аккуратные томики (или небрежно сложенные листки – кому как было удобнее) продолжали существовать.

Я сейчас оставляю в стороне юношеские дневники, которые были весьма многочисленны, но рассматривались как малоценные и потому часто не доходили до архивов или действовавших по своему усмотрению исследователей. До сих пор не могу простить себе, что нацеленный на издание стихов Ходасевича, я не среагировал на издали показанные мне девические дневники жены его близкого приятеля Б.А. Диатроптова. Да и показывавший мне документы

ее сын как-то небрежно махнул рукой: мол, ничего интересного. Для исследователя, занимающегося Ходасевичем, действительно ничего, они тогда даже знакомы не были. Но для историка культуры этот материал весьма нужен. Конечно, это тема для другого разговора, и, видимо, тексты такого рода должны обрабатываться особым образом, чтобы с ними можно было работать примерно как с *big data*, при всем различии объема материала. Материал различен, но это уравнивается разнообразием эпох, идиостилей, психологических реакций, то есть неоднородностью самих данных<sup>2</sup>.

Мы же сегодня обращаемся к документам, где доминирует не общность реакций, поступков и размышлений, а, наоборот, индивидуальность. При этом весьма характерная особенность: чем крупнее писатель, тем меньше он боится показаться *неинтересным*, красуется перед собою и перед потенциальным читателем. И в этом, как мне кажется, со-

стоит одна из причин потребности в дневнике: он является своего рода убежищем, где можно жить так, как тебе представляется нужным, не учитывая потребностей внешнего круга. Но, с другой стороны, это вовсе не означает, что литератору не важен его облик. Совсем наоборот: не оглядываясь на сиюминутные интересы, он часто озабочен тем, чтобы должным образом выглядеть в глазах тех, кто возьмет в руки дневниковые тетради. Иногда это выглядит самой настоящей манией, как в случае Андрея Белого. Недавно вышедший том его *Автобиографических сводов* включает целый ряд поразному определяемых текстов, но в конечном счете они почти все стремятся к дневнику как к пределу. Но это не просто дневник, а *Ракурс к дневнику*, как назван один из таких текстов. При этом необходимо иметь в виду, что существует трехтомник мемуаров Белого, существуют воспоминания о Блоке, существует недавно опубликованная “берлинская редакция” *Начала века*, африканский дневник и другие тесты такого же рода<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> См. доклад М. Мельниченко *Сообщество “Прожито”*: опыт организации публикаторской работы силами волонтеров на конференции “Революция памяти”: Советская история в источниках личного происхождения (ГУ ВШЭ, 2017).

<sup>3</sup> См.: Андрей Белый, *Начало века*. Берлинская редакция (1923), подгот. А.В. Лаврова; отв. ред. Н.А. Богомолов, Наука, СПб., 2014;

Сюда же необходимо добавить письма с сильнейшим автобиографическим началом, занимающие иногда по несколько печатных листов, недавно изданную *Линию жизни*, и так далее, и так далее. Это, в свою очередь порождает полухудожественные (вроде очерковых книг) и художественные тексты. Одни и те же факты предстают перед нами во множестве зеркал, и дневники тут имеют столь же существенное значение, сколь и собственно художественная проза. Не случайно один из текстов носит название *Материал к биографии*, означен как могущий быть обнародованным только после смерти автора, но построен он в виде дневника (только членящегося по месяцам, а не по дням – впрочем, такое строение далеко не уникально).

Несколько менее значим в творческой судьбе автора (впрочем, кто знает? Может быть, через несколько десятков лет никто не будет знать пьесы *Давным-давно*, главного опуса автора, а будут говорить

о нем как о писателе дневника, сохранившем для потомков события с 1930-х по 1970-е годы), – дневник А.К. Гладкова. До недавнего времени он вообще не привлекал внимания читателей и исследователей. Однако после кропотливой работы С.В. Шумихина и М.Ю. Михеева стало понятно, что перед нами текст, заслуживающий всяческого внимания не только как фиксация событий, кажущихся его автору важными, но и как произведение особого жанра, именуемого дневником только условно. Уже первый публикатор дневниковых записей Гладкова писал:

Свой дневник Гладков вел первоначально в разнокалиберных тетрадках, иногда на отдельных листках. В годы “большого террора” отвозил время от времени накопившиеся записи на дачу в Загорянку, где жили родители, и его мама прятала их. [...] В середине 1950-х Гладков начинает вести дневник сразу на машинке, одновременно в свободные часы перепечатывая ранние части дневника. Тут возникает неизбежный вопрос об аутентич-

---

“Африканский дневник” Андрея Белого, публ. С. Воронина // *Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.*: Альманах, Студия ТРИТЭ: Российский архив, Москва, 1991.

ности перепечатанных записей Гладкова их первоисточнику. Подвергался ли дневник до 1954 года, когда он стал действительно синхронным, обработке? Выясняется, что подвергался. [...] Иные оговорки (казалось бы, мелочи) сразу ставят “аутентичность” текста под сомнение своим анахронизмом. Так, в записи от 24 октября 1942 года: Гладков с женой едут из Москвы в Свердловск на премьеру Давным-давно эвакуированном ЦТКА: “В купе с нами какой-то эмгебешник”. Написать это в 1942 Гладков не мог: министерства в СССР были образованы только в 1946, до того же были наркоматы, и в рукописном тексте у Гладкова должно было быть “энкаведист”, “сотрудник органов, чекист”, но никак не “эмгебешник” (Гладков 2000: 524–526).

И далее в качестве примера сравниваются тексты записи за памятный день 22 июня 1941 года на рукописных листках и в окончательной машинописи Гладкова. На самом деле все обстоит еще сложнее: мне уже

случалось указывать, что запись на листке хронологически тоже явно не относится к памятному дню: она сделана шариковой ручкой (которых в 1940-х годах в СССР еще не было) и необычно разборчивым почерком. Совершенно очевидно, что это – не первоначальная запись, а один из перебеленных ее вариантов (таких могло быть несколько). Но переработка идет в том же направлении, что и интенция первоначального текста, насколько мы можем о нем судить: день начала войны рисуется как столкновение рокового известия и реакции обычных горожан на него: “Везде кучками толчется народ. Сразу выстроились длинные очереди у булочных, продовольственных и сберегательных касс... Все возбуждены: молодежь смеется, у пожилых людей хмурые лица” (Там же: 527), – с описанием собственного состояния, где мешаются ожидание футбольного матча (Гладков был страстным болельщиком московского “Локомотива”; матч был отменен), поход с очередной девушкой в кафе, а затем и лишение ее невинности. Но при сохранении общей канвы событий Гладков педалирует то одну, то другую особенность происходящего. Он не переигрывает

события, а слегка подправляет их изображение. Дневник становится, и не только у него, школой прозы.

Еще одна функция, которую получает дневник в эти годы – возможность снятия табу. Речь идет о самых различных тематических обстоятельствах. Первое, что вспоминается, конечно, – различные политические мотивы. По моим наблюдениям, выигрывали здесь люди наиболее осторожные. Мне уже приходилось писать, что литературовед и поэт И.Н. Розанов, дневник которого только недавно стал входить в научный оборот, довольно часто попадал в ситуации, которые могли бы привести к печальным для него последствиям. Однако он, будучи человеком предусмотрительным, всегда вовремя уходил от опасности. Так, еще с предреволюционных времен он был членом известного московского кооператива “Задруга”. В начале 1920-х годов и весь кооператив, и прежде всего, конечно, его вдохновитель С.П. Мельгунов, попали в разработку ЧК, что в конечном счете привело к закрытию “Задруги” и высылке Мельгунова. Розанов же в какой-то момент исключает из своего дневника какие бы то ни было упоминания о “Задруге” и остается в

Москве. Осенью 1921 года расстрелян Гумилев. На первых порах Розанов кипит, записывает всякие слухи и толки, но очень скоро прекращает упоминать убитого поэта в дневнике. В самом конце ноября и начале декабря того же года он записывает:

Последние дни целый ряд фактов о строгой предварит[ельной] цензуре. На прошлой неделе А.С. Яковлев сообщил, что при “Пересвете” предполагалась критика, но запрещена. Потом ряд сведений о том, что Мещеряковым зачеркнут в бюллетене “Задруги” ряд рецензий и статей (Кизеветтера, Полянского [?]). Сегодня узнал, что из моей выброшена 1 фраза. [...] Познакомился с Петр[ом] Орешиним, он жалуется, что цензура вычеркивает у него в стихах слово “Бог”<sup>4</sup>.

Казалось бы, куда откровеннее, и ожидаешь продолжения фиксации тех же притеснений. Ничего подобного. Цензура пропадает со страниц дневника, как будто ее в советской

---

<sup>4</sup> НИОР РГБ, ф. 543, карт. 4, ед. хр. 6, л. 506–606.

стране не существует. В 1944–1945 годах Розанов ведет в МГУ семинар по поэзии русского символизма. Но стоило появиться постановлению О журналах «Звезда» и «Ленинград», как семинар этот исчезает, как и складывавшаяся книжка о символистах. Заодно пропадает и Пастернак. У близкого друга П.Г. Богатырева арестован сын, трагически потом погибший Константин Петрович. Ни единого слова! Зато по возвращении подлинная радость.

Но, конечно, далеко не все были так осторожны. Тот же Гладков регулярно и в самые жестокие годы записывает слухи, а с наступлением *вегетарианских* 1960-х начинает фиксировать прослушанные по западному радио передачи, новинки самиздата, рассказы о диссидентах, которые были на слуху. Но для него же было существенным и устранение еще одного табу – на сексуальные описания. Советская печать была весьма ханжески настроена, а Гладков отличался не только любвеобилием, но и желанием поведать об этом другим. И в этом отношении дневник, судя по всему, тоже был для него постоянной школой.

Другие авторы дневников доверяли их страницам свои ре-

лигиозные убеждения (см., напр., дневник Бориса Шергина) общими местами становятся рассказы о бытовых неурядицах всякого рода, не только случайных, но и спровоцированных советской жизнью. Вот совершенно случайные фразы из дневника Гладкова от 20 октября 1940: “На Северной дороге подорожали билеты пригородного сообщения. Загорянка из 3-й зоны стала 4-й зоной. Все ждут повышения цен на сахар, масло, повышения квартплаты и пр. В промтоварных магазинах можно видеть лежащие на полках еще недавно дефицитные товары и в том числе одежду. Это не значит, что у населения избыток одежды, а значит, что у него недостаточно денег” (Гладков 2014: 124). Дневник, таким образом, нередко превращался в изображение изнанки официальной советской действительности, пусть даже и продолжается запись совсем по-иному: “Форма комсостава армии становится все ярче и роскошней: золото, красный и синий цвета. Картина ‘Светлый путь’ не имела такого успеха, как другие комедии Александрова. Москва продолжает бредить ‘Большим вальсом’, который еще идет в нескольких кинотеатрах” (Там же).



В заключение наметим еще одну тему: функциональные особенности писательских дневников. В ней отчетливо видны два набора возможностей для размышления. Первый относится к осознанию ценности самого процесса ведения дневника. В.Я. Лакшин обстоятельно отразил место дневника в собственном сознании. Рассказав о ранних отрывочных записях, он продолжал:

Вести дневник с большей регулярностью я стал на исходе 50-х годов. Подхлестнуло меня то обстоятельство, что, волею случая, я рано оказался среди людей литературы, начал встречаться с А.Т. Твардовским, регулярно сотрудничать в “Новом мире”. [...] [П]о своим филологическим занятиям я помнил, как дорог иногда случайно отмеченный современником факт или дата и сколь многое кануло в Лету неописанным, незапечатленным (Лакшин 1991: 6).

Далее он вспоминает дневники Никитенко, Погодина, Гольденвейзера, Маковицкого

и продолжает:

На свой дневник я не смотрел как на притязание писательства или литературный жанр, но пользу его для пишущего довольно скоро ощутил. [...] [Т]о, что не фиксировалось на бумаге, начинало стираться в сознании или невольно трансформироваться уже два-три года спустя под влиянием книг, разговоров. Дневник напоминал мне порой то, что я начисто забыл, и поправлял то, что я помнил неточно (Там же).

Очень схоже писал в предисловии к своему *Новомирскому дневнику*, изданному уже посмертно, А.И. Кондратович: “Мой дневник я расцениваю только как документ” (Кондратович 1991: 7), и далее: “[...] подлинность – единственное достоинство документалистики, и чего нельзя никак в нее привносить, так этот как раз ‘художественность’, домысел, приблизительность” (Там же: 20). И судя по опубликованным текстам (в печатные издания что у того, что у другого вошло далеко не все записанное), примерно таково и было их задание – стать Эккерма-

нами не столько при Твардовском, сколько при «Новом мире» его эпохи. Но сам Твардовский, также ведший дневник, понимал его по-своему: “[...] это материалы, некий черновик ‘Главной книги’” (Твардовский 2009: 390). Таков, пожалуй, разброс писательских интенций: от стремления к строгой документальности до создания черновика главной книги, то есть самой жизни автора. Соответственно и исследователи должны отдавать себе отчет о намерениях автора, в каждом частном случае определяя роль и значение дневника как возможного исторического источника. Конечно, и при восприятии его как “истории моей души” (используя название дневника М.А. Волошина) необходимы некоторые коррективы, но они скорее основываются на знании того, что для автора было в данный момент закрыто. Для понимания роли писательского дневника как исторического источника необходима коррекция в гораздо более значительной степени. Второй и последний из рассматриваемых сегодня аспект функциональных особенностей дневников по мере приближения к современности связан с интервалом между созданием рукописи и ее об-

народованием. Конечно, и в первой половине XX века бывали случаи, когда дневник становился *гласным*: читался друзьям и даже совсем не близким людям (как было в разобранных ранее случаях в кругу Вяч. Иванова 1906–1907 гг.), планировался к публикации, хотя бы фрагментарно, как дневник Кузмина, а то и просто был напечатан, как дневники С.Р. Минцлова. Но это все же были скорее исключения. Для многих так оставалось и во второй половине XX века, и в этом смысле характерна запись Твардовского, продолжающая уже процитированную выше: “Слава богу, что о существовании этих тетрадок никто не знает, а если я кому и говорил о них, то это могло пониматься лишь в смысле ‘лаборатории’ писателя, и вряд ли кто верил в реальность этих тетрадок – хвастается, мол, как все пьяницы хвастаются своей организованностью и т.п.” (Там же). Но все чаще и чаще появляются дневники живых людей. Так, цитированный дневник Лакшина вышел еще при жизни автора, первая порция записей еще одного новомирского сотрудника, Льва Левицкого – тоже (2001–2005). Юрий Нагибин сдал рукопись своего дневника с объяснительным

предисловием в издательство и вскоре скончался, не увидев книги. А за этим следует вообще постоянное последовательное издание дневников нынешнего времени. Наиболее известны, видимо, дневники Валерия Золотухина, не скрывающие имен и сути отношений между персонажами. Судя по нумерации, вышло или планируется к выходу уже как минимум 20 томов, начиная с 2004 года, не считая книг, обозначенных как *На плахе Таганки: Дневник русского человека* (1999), *Секрет Высоцкого: Дневниковая повесть* (2000 и переиздания), *Таганский дневник: Роман* (2002), *Дневники: "Все в жертву памяти твоей..."* (2005) и др. Издает дневники не слишком известный как писатель, но видный в прошлом литературный функционер Владимир Гусев. Наиболее отрефлектированно и осмысленно представляет свои литературные дневники Марк Харитонов, первый лауреат премии "Рус-

ский Букер". Они изданы под заглавиями *Стенография конца века* и *Стенография начала века*. Наверняка есть и другие публикаторы собственных дневников при жизни, но вряд ли в ближайшее время это получит серьезное развитие: социальные сети, начиная с *Живого журнала*, убивают такие дневники, закрепляя каждый момент собственной жизни, который почему-либо кажется существенным.

Таким образом писательский дневник в прошлом веке прихотливо меняет свою историко-ведческую функцию, заставляя исследователя всякий раз ее отслеживать и соответствующим образом объективировать свои выводы. В XXI веке, насколько можно судить по его началу, дневник все чаще и чаще становится публичным жанром, одним из выразительных средств строения собственного писательского облика.

## Библиография

Богомолв 1990: Н.А. Богомолв, *Дневники в русской культуре начала XX века // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения*, отв. ред. М.О. Чудаковой, Зинатне, Рига, 1990, стр. 148–158.

Гладков 2000: А.К. Гладков, *"Я не признаю историю без по-*

дробностей...” (Из дневниковых записей 1945–1973), пред. и публ. С.В. Шумихина // *In memoriam*: Исторический сборник памяти А.И. Добкина, Феникс-Atheneum, Санкт-Петербург; Париж, 2000, с. 521–656.

Гладков 2014: А.К. Гладков, “*Всего я и теперь не понимаю*”. Из дневников. 1940, публ. С.В. Шумихина, «Наше наследие», 2014, III, с. 116–129.

Кондратович 1991: А. Кондратович, *Новомирский дневник 1967–1970*, Советский писатель, Москва, 1991.

Лапшин 1991: В. Лакшин, *Новый мир во времена Хрущева: Дневник и попутное (1953–1964)*, Книжная палата, Москва, 1991.

Твардовский 2009: А. Твардовский, *Новомирский дневник*, ПРОЗАИК, Москва, 2009, т. 1, 1961–1966.